

Глава 1

В каюте с лежанками из рабицы пассажиров рвало друг за другом. «Блюют, — сказала Ася. — Пошли отсюда. Не то втянешься». Седая, серолицая, над увядшими щеками — быстрые глаза, из битых молю рукавов черной куртки — неожиданно молодые руки. Эти руки и увели Павла наверх по пляшущей лестнице. На палубе кем-то забытый рюкзак переваливался от борта к борту, подползали к нему лужи зеленоватой ладожской воды. Ася отыскала сухой моток брезента, развернула, плюхнулась на него, согнув ноги под черной юбкой, похлопала Павлу, чтобы сел рядом, принялась креститься. Обыденно, будто пудрилась. Ветер даже сквозь очки студил Павлу глаза. Пунктиром на горизонте лежали клочки архипелага. Валаам.

Павел увидел себя сверху, как в кино: камера все удалялась, удалялась, пока «Святитель Нико-

лай», старая посуда, которой на Валаам переправляли волонтеров, богомольцев и мешки с гречкой, не сделался бумажным, а сам он не предстал на палубе тощей кляксой. Он здесь не предполагался, да вот случился. Рот наполнился лимонной горечью, Павел вскочил, перегнулся через борт, зарывчав, спугнув чайку. Поймал очки, норовившие слететь с носа, протер. Смотрел, как волна подхватила и унесла желтую кашицу, пока его не замутило вновь.

Волна кидалась под киль «Николаю», тот спотыкался, раскачивался, переваливал, кланялся. На этих поклонах голову Павла кто-то сжимал, удерживал меж могучих ладоней, пока его тело падало. Павел чувствовал, что вот сейчас, прямо сейчас, умрет, и хотел, утираясь от брызг, чтобы его смыло за борт.

Атака волн отдавалась в теле тем ударом по бамперу «Победы». До этого машина шла плавно — Павел и не замечал лежащих полицейских, мелких ям. На светофоре тронулся. Вдруг удар, хруст. Павла вжало и отпружинило от тугой спинки. Больно дернулась шея. «Победа» перевалилась через какое-то препятствие.

Все кругом сигналили.

В левом ряду легковушка приехала в чей-то бампер, и больше не было видно ни черта. Открыл дверь, на асфальте раздавленные яблоки, красные

длинные брызги. Выскочил из машины, споткнулся о покоренную сумку-тележку, из нее вытекала овощная жижа. Фух! Павел вытер лоб рукой, поднял тележку, поискал глазами, кто уронил. Пощупал вмятину на бампере: видимо, тележка и выкатилась на дорогу. Обошел машину. За «Победой» на разделительной полосе лежала женщина. Морозное солнце высветило спину в черной куртке.

— Ты, это, сядь, сядь лучше. Драмины бы принял. Есть? — Ася дергала его за штанину.

Павел боялся пошевелиться: снова вывернет.

— Сходи к капитану, спроси, не то заблудись им всю палубу. Чего смотришь?

— Тебя... Тебя вообще, что ли, не качает?

— Дык я на Иисусовой молитве. Это тема прям. Знаешь ее?

— А сестры у тебя нет? — спросил Павел, криваясь от ветра и брызг. — В Москве видел похожую на тебя.

— Да нет никого, одна я.

Эта Ася знала всех в хижине на причале Приозерска, где им три часа назад наливали чаю и просили надеть на себя все теплое, не модничать, потому что «на воде не апрель». У причала стоял «Николай», его труба выплевывала черный дым и стучала, приоткрывая крышку. Тук-шлеп-тук-тук. На палубе суетился, что-то спешно ремонтируя, механик.

Сосновый лес был красным на просвет, пахло прелыми опилками. Чайник в хижине без конца кипел и парил, было душно. Ася все шуршала фантиками конфет, говорила «спаси, Господи», и никто не знал, когда они придут на остров. На все была «воля Божия»: на нее ссылались так, как баба Зоя на «Комсомолку». Из ее старой тумбочки вечно торчали вырезки всех сортов: от рецептов творожного кекса до жухлых послевоенных сводок о том, где искать пропавших без вести. Сводки лежали не по порядку, зато на каждой из них круглым почерком (печатным, старательным) было написано «Петя Подосёнов».

Петя, родной брат бабушки, так и не вернулся ни в сорок пятом, ни в пятьдесят третьем, когда приходили те, кто попал в арестантские роты и лагеря. Павел знал, что Петя держал оборону Ленинграда, а когда блокаду прорвали, вести от него прекратились. В конце сороковых баба Зоя каждый год ездила в Ленинград, отпуск тратила на добывание архивных справок, из которых было понятно: живым брат уже не вернется. «А могила? Должна же она быть? Чем вы тут занимаетесь в архивах: пять лет с войны прошло! — дед, попискивая, изображал бабку: вынь да положь ей брата. — И глазами, Паш, как сверкнет! Ну как было не влюбиться молодому историку?!» Дед умер от инфаркта, когда Павел учился на первом курсе. Павел помнил его

смешливым, глуповатым, несмотря на степень доктора исторических наук.

Новогоднюю ночь на 2001-й, последний в жизни деда, Павел отмечал дома: старая, еще школьная любовь сама собой оборвалась, вузовской компанией не обзавелся. Баба Зоя, опустошив свою тарелку, послушав, что скажет новый президент, ушла спать. Павел с дедом без конца переключали телеканалы. Везде пели, пили, надеялись. Вдруг прямо у их окна рассыпались искры салюта. Звякнул хрусталь. Дед убрал бокал «для Пети» и его фотографию: лобастый курчавый парень проплыл мимо Павла.

— Невская Дубровка.

— Чего? — Павел, у которого голова трещала от выпитого, очнулся.

— Станция на железке. Оборона Ленинграда там проходила, их всех земель засыпало заживо. И не раз.

— Петя?

Дед кивнул:

— Немец не прошел, но и они не встали. Она все не верит. Сына родного так не оплакивала.

Всех своих покойников баба Зоя вспоминала редко, зато с братом, с Петей, беседовала, как с живым. Особенно в последний год, заговариваясь, называла Петей Павла. Порой днями не вставала с постели, путая сны с новостями. Павел звонил

в скорую (девяносто лет — не шутки), а она, слышав разговор, встряхивала седым пучочком на макушке, цокала вставной челюстью, взгляд снова обретал строгость: «Не надо, не надо. Бабка твоя еще из ума не выжила, Паша».

— Паша, проснись уже! Паша, Никольский! — Ася трясла его за плечи.

Маковка церкви торчала над водой, выглядывая из бурого пуха сосен. За Никольским скитом показался причал — серое небо над ним было разодрано, проглядывала голубая подкладка. Летела навстречу стая ворон. Пахло древесиной, влажной землей. Ладога теперь лишь пощипывала «Николая» за бока, тот увиливал, покачивался.

Осунувшиеся волонтеры и богомольцы поднимались из каюты, стягивая шапки, стряхивая с волос и бород присохшую рвоту. Пожилая, сильно накрашенная женщина в черном берете поверх платка спрашивала Асю о старце, который хорошо исповедует. Павел прислушался. Толстый парень с бородой кому-то звонил, повторяя: «Ты себе не представляешь! Але? Слышно?» Девушки из Челябинска утирали друг другу подтеки туши под глазами, фотографировались. Та, что повыше, хотела «удержать» на ладони колокольню главного, Спасо-Преображенского собора, которая в кадре казалась не больше елочной игрушки. На коло-

кольне в закатном солнце розовел крест. Внутри башни дремали колокола, крошечные, едва заметные с причала.

Мимо Павла передавали на берег пестрые тюки и огромные чемоданы. Монах, принимая на берегу, называл их «голгофами». Павел кивнул Асе и тут же дернулся, как от выстрела. «Сука! — кричал кто-то тетке, спешащей вдоль причала. — Я те дам, не велено! Открой магазин, сказал!» Павел перехватил окаменевший взгляд монаха, заметил, как тот мелко-мелко зашевелил губами, зашептал. Мужика, который, матерясь, сбежал с лестницы и едва не схватил тетку за капюшон, заслонили от сходявших на берег два высоких монаха. Павел разглядел только поседевшую курчавую голову.

Фыркая, с уклона к причалу сползал пазик.

Пазик тащился к Работному дому, старинному зданию из темного кирпича, где поселили волонтеров. Снова качало, трясло, но хотя бы на суше. Рядом с Павлом сидела Ася, не переставая перебирать знакомых с Гошей, в распоряжение к которому они поступали. Гоша Павлу не понравился. К его виду — брюкам с походными карманами, ремню с бляхой, тяжелым ботинкам — добавилась еще и манера начинать фразу со «значит, так». При этом бороду он носил длинную, как у монахов, и, когда Павел в третий раз спросил, что им завтра делать, ответил: «Что Бог пошлет». Павел аж зубы

стиснул. Ася шепнула, что Гоша отслужил в местной части ПВО, которая «там, за картошкой, увидишь», сверхсрочную прошел, прижился у отца-эконома.

Весна на острове выдалась сырая, снег, как писали в соцсетях, сошел лишь за неделю до прибытия волонтеров и еще белел на поленницах, сложенных у старинных домов. Центральная усадьба, Спасо-Преображенский собор с колокольней, у которой белесо светился лишь верхний ярус, обновлены, покрашены. Кельи монахов, обступившие храм двойным квадратом-каре, кое-где скрывались за строительными лесами.

— Значит, так, Зимняя гостиница, там местные бухают, ну то есть живут, — пояснил Гоша волонтерам, махнув веточкой вербы на дальнее здание с ветхими сизыми окнами и детской коляской у входа. — Ну ничего, дай срок. Алкашей выселят, ремонт сделаем, наша будет гостиница.

— Перестань, — осадила его Ася.

В Работном доме к комнатам волонтеров вела лестница с низкими каменными ступенями, за сто с лишним лет промятыми поступью мастерового люда. На третьем этаже мужчин направили на правую половину. Так заведено монастырским уставом: женщины и в храме становились отдельно, слева. В комнате с низким потолком, печкой, деревянными скамьями у стола и электрическим чай-

ником (чересчур современным для обстановки) стояли едва ли не вплотную четыре кровати. На дальней, в углу, всхрапывал и бормотал, ворочаясь под тулупом, какой-то старик. Гоша указал Павлу на кровать возле окна, выдал полинявшее постельное белье в синих цветах. На соседней койке развалился тот бородатый с корабля. Павел забыл его имя. Панцирная сетка под ним простонала — Павел только сейчас оценил, насколько Бородатый мощный. Метра два ростом, ноги-руки раскинул, живот поднимается горой.

Спали плохо, печка дымила. Бородатый, пригибая половицы, вставал, топал, ковырял в топке кочергой, дул на огонь, размахивал газетой. Пепел летел во все стороны. С женской половины слышался смех и Асин голос.

— Может, к ним пойдем спать? Говорили, полгруппы только приехало, — сев на кровати, сказал Павел.

— Ты че! Это не благословляется, на двери же правила. — Бородатый выкатил едкую головешку на пол и гасил угли, поливая из чайника. — С женщинами нечего общаться. Такое дело.

— Лучше потолки бы подняли в туалете, я долбался башку расшибать. — Павел взял ложку со стола, прижал к шишке на лбу.

— Смотри, на поле днем послушание будет, там можно. Но без рук, — смешок Бородатого был

похож на дедов. — Такое дело: смирение и работать. Впахивать.

— А назад «Николай» какого числа? Не помнишь?

— Во вторник.

Бородатый лег, накрылся с головой одеялом и засопел. Павел распахнул обе форточки. Размахивая газетой, выгонял чад и ловил бумажные иконы не больше ладони, наставленные на полках и подоконнике, норовившие разлететься по полу. Задержал одну в руке, прочел вслух: «Валаамская». Образ вроде Рафаэлевых мадонн: наивных, сероглазых, с нежным румянцем. Но у того фигуры всегда изгибались, сходились в арки и круги и были окружены не то ангелами, не то волхвами. Здесь одинокая женщина, на руке которой держались и младенец, и голубой шарик, стояла прямо. Красный наряд, твердая поступь — будто решила идти до конца, как разгоревшаяся во всю силу свеча. Облако и то окаменело под ее босым шагом. На обратной стороне иконы был календарь, свежий, на 2016 год.

Засыпая, Павел посмотрел на Валаамскую. Ну, я приехал, что дальше? Он сейчас и вспомнить не мог, как, зачем, спустя тридцать лет после того, как родители разбились на «Победу», ему загорелось восстановить машину. А сколько он искал тот самый дымчатый оттенок, который помнил? Теперь

вот баба Зоя снится. Ладно бы ругалась: не так похоронил или не попрощался. Но она появляется над серой водой и говорит про остров Валаам. Она далеко, только название и слышно. Павел подходит ближе, ближе, а вода вокруг замерзает, твердеет, он в ледяном колодце, на дне, а наверху мелькают тени.

В последние недели в Москве Павел всегда просыпался от звука колокола. Никак не мог разобрать: то ли во сне звонят, то ли это церковь соседняя, на Покровке. Павел еще до отъезда зашел из любопытства — там даже колокольни нет. На сайте писали, была колокольня, но давно обрушилась, подтопило ее, и всё никак не восстановят. Отпевали бабу Зою на Бирюлевском кладбище, Павел ни слова не понял, да еще какой-то желтобородый дед подходил, соболезновал, воняя табаком, хотел рассказать «про твоих». Павел машинально кивал, вроде как да-да, спасибо, что пришли. Ему казалось: вот только сейчас, похоронив последнего родного человека, он должен начать новую жизнь, какую-то другую, тяжкую, неподъемную. Желтобородого теснили сзади — бабу Зою, несмотря на слякоть, приехали провожать многие, — но тот стоял к Павлу вплотную. Удивлялся, как это Павел его не помнит, когда в гостях у *дедушки Вити* бывал столько раз маленьким: «Еще медалями игрался моими!» Павел, подняв брови, с усилием выдохнул. Поджав губу,

отчего желтое пятно на бороде сомкнулось с желтизной усов, этот дедушка Витя наконец отстал от Павла. Неохотно так. Резко обернувшись, сунул ему визитку: ты мне набери все-таки, «важное сообщу». Растолкал толпу, ушел. Озябший священник вновь загундосил молитву. Дымок, вырывающийся из кадила, перебил запах слежавшейся шерсти и сигарет.

Павел знал, что нет никакой загробной жизни, но отпевание устроил, как бабе Зое привычнее, «по религии». Петин портрет она всю жизнь возле иконы держала. Кажется, тоже Богородицы. Наверное, ее и при жизни тревожило письмо с Валаама, которое Павел нашел в бардачке «Победы». Почему же она ничего не сделала, чтобы найти родню? Забрать Петиного сына к себе? Дед отговорил, что ли, ехать? Дед точно знал, что Петя погиб на войне. Не поверил письму?

И все-таки было в этих снах что-то ненормальное: гул, дым, лед, тени. Прежде Павлу изредка снились женщины, рабочие проекты, море, однажды зеленые пуговицы граненого стекла и запах белых каких-то цветов. Сирень? Лилии? В цветах Павел не разбирался.

Лизка, с которой когда-то встречался, выслушав про сны с колоколами и письмо, сказала, что хорошо бы к старцу съездить. Из бара, где сидели, открывался вид на ту церковь без колокольни

(как же ее? Троицы на Грязех?). Лизка пила кофе такой черный, хоть ложкой ешь. Добавила: «Просто проконсультируйся». Рассказала, как сама съездила к старцу в Калужскую область. Как сидела и молчала, а тот прямо указал, что делать.

Изливать душу перед психологом или батюшкой Павлу не улыбалось. Он считал, что нужно высыпаться, нормально есть, ходить в бассейн. Не пить. Работать. Неврозы, бессонницы, исповеди — для лентяев и слабаков.

— Да не психолог! Это другая сфера вообще. — Лизка прищурилась. — Ты все равно на Валаам погрешься с этим письмом, не успокоишься, я тебя знаю.

— И что?

— Ну и заодно. К валаамскому старцу все випы ездят. — Лизка уже щелкала пальцами, что-то вспоминая, на «православную» не похожа, выглядит как надо, проекты берет крупные. — Забыла, как же его? Василий? Власий?

В тот же день Павел позвонил в волонтерскую службу Валаама.

Отвернувшись от окна с иконами, Павел решил завтра же к старцу попасть. Про Петю расспросить, раз он такой прозорливый, про колокола во сне — все разом уладить. За неделю тут с ума сойдешь. Он шумно выдохнул, устроил голову на подушке, за-

крыл глаза. Вдали загудела сирена, асфальт блеснул инеем. Павел стоит на коленях возле «Победы», на его руках женщина в черной куртке, рукава дырявые, а руки из них выглядывают нежные, розоватые. Замерзшие. Разлетаются седые пряди. Ася. Из рта кровь течет, но она говорит, говорит с ним, говорит и смеется, становится румяная, красивая даже, а вокруг уже смыкается ледяная крепость. «Победа» сливается с ней цветом, растворяется, снаружи гудят, снуют тени. Ася утихает, сразу постарев. Кончик ее носа заостряется. Павел смотрит вверх, ждет звона колоколов. Зовет на помощь, бьет по льду, чувствуя, как тот обжигает ладони. «Я же приехал! Приехал на Валаам!» — кричит Павел наверх. Высоко над ним промахивает тень чайки.

— Ася тоже умрет? — Павел встрепенулся, огляделся, упал на подушку и уснул.

Утро пришло ясное, из-за белых стен келья засветилась изнутри. Павел сощурился, вставая, чуть не раздавил очки под кроватью, надел, вспомнил, где он, и тут же после стука в дверь раздалось Асино пение: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» Бородатый крикнул: «Мы не одеты!» Ася сказала что-то про «рухольную» и «благословляется», застучала тяжелыми сапогами прочь по дощатому коридору.

В рухольной-кладовке на левой, женской, половине оставляли вещи, больше не нужные в монастырской жизни, а то и вовсе опасные. Ася выудила из кучи юбок и брюк кружевные трусики и такую же невесомую сорочку на бретельках.

— Отказалась грешить, — торжественно произнесла она. — Ушла в монастырь.

— Это же му-мужская обитель. — Бородатый сглотнул.

Ася расхохоталась и выхватила из ящика в самом углу пару резиновых сапог с меховой подкладкой, протянула Павлу, и теплый луч, добравшись до рухольной, приласкал ее щеку. Павел смотрел на Асю — вот же она, живая.

Сапоги пришлось впору. Павел задумался было о том, кто их носил и на каких ногах, но, спохватившись, благодарно закивал в пол. Ася накинула ему на спину черную куртку, почти такую же, как у нее, только большую, с мужского плеча, без дыр.

— Ну ладно, кто облачился, проваливайте, мне еще челябинских одевать, у них одежда не по погодке. Так, что я хотела еще...

— Ася?

— Паш, вы хоть не опаздывайте из трапезной. Отец-эконом на поле будет.

Ася, отстучав сапогами, вылетела за дверь. «Живая», — подумал Павел, встал и быстро пошел